

Медаль, 1977, 28 февраля

# ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА



К  
175-  
летию  
со  
дня  
рождения

Виктор ГЮГО

Рисунок  
Э. Ярова

В начале настоящего века\* в одном из наиболее пустынных кварталов Парижа, в большом доме, окруженном обширным уединенным садом, жило дитя. Дом этот до революции был женским монастырем. Дитя жило там со своей матерью, двумя братьями и старым священником, еще дрожащим при воспоминании о 93-м годе. Достойный старец, ранее преследуемый, теперь снисходительный, был их добрым наставником. В глубине сада, скрытая высокими деревьями, стояла старинная полуразвалившаяся часовня. Подходить к ней детям запрещалось. Теперь эти деревья, этот дом, эта часовня не существуют. Переделки, которые были предприняты в Люксембургском саду и продолжены до Валь-де-Грас, разрушили этот скромный оазис. Теперь там проходит большая и довольно бесполезная улица. От монастыря осталось немного травы да деревянная облезлая перекладина, еще различимая между двумя новыми высокими строениями. Но все это не представляет интереса, если не связано с воспоминаниями. В январе 1871 года на этот уголок упала прусская бомба, и Бисмарк dokonчил то, что начал Осман. Трое юных братьев начинали жизнь, не думая о будущем, они играли и работали, интересовались книгами, деревьями, облаками, прислушивались к неясному и шумному гомону птиц. За ними присматривала с нежной улыбкой мать. О будь благословенна ты!

Самый младший из трех братьев, хотя его уже заставляли читать по складам Вергилия, был еще совсем ребенком. Воспоминание о монастырском доме теперь для него дорого и свято. Там, среди лучей и роз, появились у него первые сознательные детские впечатления. Нигде не было так спокойно и уединенно, как в этом цветущем убежище, высоком старинном доме бывшего монастыря. Однако и туда доходил шум империи. От времени до времени в этих огромных комнатах аббатства, в этих монастырских развалинах, под сводами разрушенных галерей, в промежутках между войнами, шум которых до него доходил, дитя видело возвращение из армии и отправление в армию молодого генерала, который был его отцом, и молодого полковника, который был его дядей. Милый отцовский шум на мгновение его ослеплял, но по зову армейской трубы видение плюмажей и сабель исчезало, и опять в развалинах, где занималась его утренняя заря, наступали мир и спокойствие. Так жил 60 лет назад этот уже тогда серьезный ребенок, которым был я.

Я вспоминаю обо всем этом с волнением...

Я жил среди цветов.

Я жил в монастырском саду, я бродил там ребенком, следил за полетом бабочек и пчел, собирал лютики и вьюнки и никого не видел, кроме матери, двух братьев и доброго старого священника с книгой под мышкой.

Иногда, несмотря на запрет, я отваживался приближаться к непроходимой чаще в глубине сада, там были только ветер, гнезда и деревья; я рассматривал сквозь ветки старую часовню, через выбитые стекла которой видна была внутренняя стена, причудливо инкрустированная морскими раковинами. Птицы влетали и вылетали через окна. Они чувствовали себя там дома.

Однажды вечером, это было около 1809 года, и мой отец был в Испании, несколько посетителей пришли повидать мою мать — редкое событие в монастыре. Они гуляли по саду. Эти посетители были тремя товарищами моего отца. Они то ли привезли новости, то ли хотели узнать новости о нем. Я шел вслед за ними, я всегда любил общество взрослых; позднее это помогло мне легче перенести долгое пребывание наедине с океаном. Моя мать слушала то, что они говорили, я шел позади матери.

В тот день был праздник, один из больших праздников первой империи. Какой — я не знал, не знаю и теперь. Был летний вечер, наступила роскошная ночь. Пушки Дома Инвалидов, фейерверк иллюминация, триумфальный шум достигли нашего уединения; великий город прославлял великую армию и великого полководца; город был в ореоле, как будто победы окружили его утренней зарей; голубое небо мало-помалу становилось красным; имперский праздник отразился высоко в небесах. Два собора возвышались над монастырским садом; один совсем близко — Валь-де-Грас, его верхушка, охваченная пламенем, казалась тирой, украшенной рубинами; другой — дальний — призрачный гигантский Пантеон, вокруг которого был венок из звезд, словно для того, чтобы чествовать гениев.

От праздничного блеска, великолепно, алого, с кровавым оттенком, в саду стало светло почти как днем.

Группа гуляющих, несмотря на то, что моя мать пыталась остановиться, дошла до чащи деревьев, где была часовня. Один из собеседников задержался и, глядя на ночное небо, полное света, воскликнул: «Что бы то ни было! Этот человек велик».

Из темноты послышался голос:

— Здравствуй, Люко, здравствуй, Друз, здравствуй, Тилли.

И человек высокого роста показался в тени деревьев.

Трое разговаривающих подняли головы. — Ба! — вскричал один из них; он готов был уже произнести имя.

Мать, вся бледная, приложила палец к губам. Они замолчали. Я смотрел удивленно.

Видение (ибо таковым он был для меня) продолжало:

— Ты сказал: «Этот человек велик».

— Да.

— Ну, есть кое-кто больше, чем Наполеон.

— Кто?

— Бонапарт.

Наступило молчание. Люко его нарушил:

— После Маренго?

Неизвестный ответил:

— До Брюмера\*.

Генерал Люко, который был молод, богат, красив, счастлив, протянул руку неизвестному и сказал:

— Ты здесь! Я думал, что ты в Англии.

Неизвестный, у которого, как я заметил, было строгое лицо, глубоко посаженные глаза и волосы с проседью, продолжал:

— Брюмер — это падение Бонапарта.

Это слово — «Бонапарт» меня очень удивило. Я слышал всегда — «император». Позднее я понял истинный смысл этой высокомерной фамильярности. Но в тот день я впервые услышал великую бесцеремонность, «тыканье» истории.

Трое мужчин, три генерала, слушали удивленно и серьезно.

Люко воскликнул:

— Ты прав. Чтобы зачеркнуть 18 брюмера, я принес бы все в жертву. Франция велика, это хорошо. Франция свободна, это лучше. Франция не велика, если она не свободна. Это тоже верно. Чтобы снова видеть Францию свободной я отдал бы мое состояние. А ты?

— Мою жизнь. — сказал неизвестный.

И опять наступило молчание. Был слышен веселый шум Парижа, деревья были розовыми, отблеск праздника освещал лица мужчин. В пылании освещенного иллюминацией Парижа над нашими головами созвездия исчезли, свет Наполеона казалось, хотел заполнить все небо.

Вдруг человек, так неожиданно появившийся, повернулся ко мне, испуганному, пытавшемуся спрятаться, и, пристально смотря на меня, сказал:

— Дитя, запомни это. Свобода прежде всего.

И, положив свою руку на мое маленькое плечо, прикосновение которой я помню до сих пор, повторил:

— Прежде всего свобода.

И скрылся под деревьями, откуда вышел.

Кто был этот человек? Это был изгнанник.

Виктор Фанно-де-Лагори был бретонским дворянином, присоединившимся к республике. В Вандее Лагори знал моего отца, который был моложе его на двадцать пять лет. Позднее в рейнской армии они возобновили старое знакомство; между ними завязалось то братство по оружию, которое заставляло одного отдавать жизнь за другого.

Лагори был в заговоре Моро против Бонапарта. Его осудили. Голова его была оценена, он не имел пристанища; мой отец открыл ему двери своего дома; эта руина, старая монастырская часовня, была хороша для того, чтобы укрыть другую руину — побежденного. Лагори принял убежище просто, так, как и сам бы его предложил.

О его пребывании там знали только мой отец и мать.

В день, когда он говорил с тремя генералами, он, может быть, поступил неосторожно.

Его неожиданное появление нас, детей, поразило, что же касается старого священника, то за свою жизнь он был столько раз гоним, что несколько не удивился.

Тот, кто спрятался, был для добродушного старика человеком, который знал, в какое время он живет. прятаться значило понимать.

Мать приказала нам молчать. Что мы, дети, свято исполняли. С того времени незнакомец перестал скрываться. Он ел за семейным столом, ходил взад и вперед по саду, работал в саду, он нас учил, прибавив свои уроки к урокам священника; он имел обыкновение брать меня на руки, подбрасывать в воздух и давать пасть почти до земли, что меня забавляло, но и пугало. Беспечность, присущая всем бывшим в длительном изгнании, была присуща и ему. Моя мать казалась немногом обеспокоенной, несмотря на то, что мы были окружены безусловной преданностью.

Лагори был человек простой, спокойный, строгий, преждевременно состарившийся, ученый, отличавшийся значительным мужеством, свойственным образованным людям. Большая сила воли отличает человека, который исполняет свой долг, от человека, который разыгрывает роли. Он присутствовал при моем рождении и сказал моему отцу: Гюго — это северное слово, его нужно смягчить южным; дополнить германское римским. И он дал мне имя Виктор, которое, впрочем, было и его именем. Настоящей его фамилии я не знал. Мать говорила ему «генерал», я называл его «крестный». Он жил все время в лагуче в глубине сада, мало смущаясь тем, что зимой дождь и снег падали через незастекленные окна. В часовне был его бивак, стояла походная кровать, в углу были пистолеты и Тацит, которого он меня заставлял изучать.

У меня навсегда останется в памяти день, когда, взяв меня на колени, он открыл своего Тацита и прочел мне следующее: «Вначале Рим управлялся императорами». Он остановился и проговорил вполголоса:

— Если бы Рим сохранил своих императоров, он не был бы Римом.

И, нежно смотря на меня, он повторил:

— Дитя, прежде всего свобода.

Вдруг он исчез. Я не знал, почему События неожиданно развернулись: Москва, Березина, начали сгущаться ужасные тени. Мы поехали к отцу в Испанию, потом вернулись в монастырь Октябрьским вечером 1812 года я проходил за руку с матерью мимо церкви Мадлен. К одной из колонн портала, к той, что справа, была прибита большая белая афиша (я и теперь иногда хожу смотреть на эту колонну). Моя мать остановилась и сказала: читай. Я прочел следующее: «По приговору первого военного консула, за заговор против империи и императора расстреляны три бывших генерала: Мане, Гидаль и Лагори».

— Лагори, — сказала мне мать — Запомни это имя. — И прибавила: — Это твой крестный.

Такой образ я вижу в самом раннем моем детстве. Один из тех, который никогда не исчезнет с моего горизонта.

Время не уменьшает его, а увековечивает.

Удаляясь, он увеличивается, что свойственно лишь нравственному величию.

Не напрасно я, будучи еще совсем маленьким, видел изгнанника и слышал голос того, кто должен был умереть. Голос, который произнес слово, вещающее право и долг: Свобода.

Перевела с французского  
М. Софинская.

\* 9—10 ноября 1799 г. (18—19 брюмера) Наполеон произвел государственный переворот, установивший режим консульства и предоставивший ему фактически диктаторскую власть.